



А. В.
АМОИТЕАТРОВ



Мертвые боги: Рассказы. Роман // Современник, Москва, 1991

ISBN: 5-270-01012-7

FB2: "rvvg ", 07.05.2009, version 1.6

UUID: 038FFD64-D4F1-4E74-87CE-A5EF5C26F9A5

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Александр Валентинович
Амфитеатров**

Деревенский гипнотизм

Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатовым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0034
Примечания.....	.0067

А. Амфитеатров

Деревенский гипнотизм

Лето 188* года я провел на Оке, в имении Хомутовке, в гостях у приятеля-помещика. Звали его Василием Пантелеичем Мерезовым. Он был много старше меня годами и опытом. Когда-то предполагал иметь порядочное состояние. Но половина последнего погибла, потому что Мерезов не занимался хозяйством, а другая половина — потому что Мерезов стал заниматься хозяйством.

— Милый Саша, — говорил он мне, когда я умру, начертай над моей могилой: «Здесь покоится прах дворянина Мерезова, погибшего жертвою многопольной системы и усовершенствованного молочного хозяйства; он вышел невредим из лап парижских кокоток, но пал под бременем агрономических улучшений. О нем плачет Россия и фирма „Работник“, напрасно ожидающая уплаты за молотилку, веялку, три плуга латкинские и один Сакка. Прохожий! если ты кредитор, почти вздохом прах его и разорви свой исполнительный лист: описывать у Мерезова нечего».

Не имея средств жить в Москве, Мерезов

безвыездно сидел в своем углу, спасенном для него от общего разгрома милейшим старичком-родственником, который с тем и купил на аукционе дом и клочок земли, чтобы предоставить их в пожизненное пользование Василию Пантелеичу. Угол был поистине медвежий. Я нашел Мезезова сильно одичалым и в хронически удрученном настроении какого-то мрачного шутовства.

— Как же ты, Василий Пантелеич, поживаешь? Что поделываешь?

— Обыкновенно, голубчик, что делают на дне колодца: захлебываюсь.

— Скучно?

— Гм... то-то и скверно, что не скучно.

Мезезов значительно посмотрел на меня и продолжал, приложив палец к носу:

— Царь Навуходоносор[1] не скучал в своей жизни ровно семь лет. Однако в эти семь лет он был не царем на престоле, но, в качестве убойной скотины, пасся на подножном корму.

Перестреляли мы с Василием Паителеичем сотни две куликов, выудили сотню окуней. Да! здесь не скука — хуже: одурь.

— Давай, Вася, выпишем хоть «Русские ведомости».

— Зачем?

— Будем следить за Европой.

— Она! это — из Хомутовки-то?!

— Когда я уезжал из Москвы, Бисмарк[2] ладил тройственный союз. Интересно, осуществится или нет?

— А тебе не все равно... в Хомутовке?!

Дом у Мерезова был огромный: мы терялись в нем как в пустыне. Обветшал он страшно. Полы тряслись и стонали под ногами; мыши, крысы; с потолков сыпалась штукатурка, обои облохматились, у половины дверей не хватало замков и скобок, — кем скраденных — Мерезов не доискивался.

— Весьма может быть, — объяснял он, — что мои министры в одну из безденежных полос, чтобы меня же накормить обедом.

Министрами Мерезов звал стряпку Федору, горничную Анюту и кучера Савку, — он же егерь, рассыльный, камердинер... чего хочешь, того просишь: молодец на все руки. Кроме их трех, при доме проживал, неизвестно по какому праву и на каком положении,

«государственный совет»: две увечные старухи и три старика. Один величал себя садовником, хотя у Мерезова не было сада, другой — скотником, хотя из трех мерезовских коров ни одна не подпускала его к своему вымени, третий — сторожем, хотя, — говорил Мерезов:

— Кроме добродетели, и в рублище почтенной,[3] у нас сторожить нечего!..

Все три старца хорошо помнили, как через Хомутовку везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича.[4] Старухи были еще любопытнее. Хромая Ульяна уверяла, будто она выкормила и вынянчила Мерезова, который, однако, отлично помнил, что няньку его звали Василисою, а кормилицы у него не было вовсе. Лизавета, неизлечимо скрюченная мышечным ревматизмом, не приписывала себе никаких чинов, но просто заявляла:

— Не околевать же мне, больному человеку, под забором: не пес я.

— Желал бы я знать, — недоумевал Мерезов, — чем кормится эта босая команда? Я не даю им ни денег, ни пайка. Враны с небеси хлебов им не носят. Тем не менее старики не

мрут, скрипят и даже, по-видимому, сыты, потому что не бегут со двора, и намердники Антип выражался весьма презрительно о дармоедах, которые побираются под окном... Кстати: есть у тебя рубль? Дай мне, потому что по двору шествует Федора, и я предчувствую, что у нее опять черви съели говядину.

Министры Мерезова вели себя конституционно до отчаяния. Порою мы почти недоумевали: кто у кого служит — они у нас или мы у них? Барина любили, были ему преданы, но в грош не ставили его приказаний, вольничали, фамильярничали. Мерезов примирялся с этою распущенностью очень хладнокровно:

— Делать выговоры Савке бесполезно, ибо он по натуре коммунары, а по привычкам бродяга. Вступать в прения с Федорою еще бесполезнее, ибо она — Дионисий, тиран сиракузский. Анютка же имеет слабость мнить себя подругою моей холостой жизни, и я не смею поражать ее чувствительное сердце жестокими словами. Тем более что на каждое мое слово у нее двадцать своих, и потом она ходит по трое суток с физиономией надутою, как воз-

душный шар.

Анютка страдала манией уборки комнат: она с утра до вечера топотала по дому босыми ногами, носясь, как ураган, с веником и мокрою тряпкою, — и все-таки всюду оставалось грязно и сорно.

— *Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas!* [5] — одобрял Мерезов.

Я решительно не мог взять в толк его любовного приключения с этою девицею, правда, статною и, должно быть, до оспы недурною с лица, но теперь рябою, как решето. На высказанное мною однажды недоумение Мерезов возразил довольно мрачно:

— Ты пьешь водку?

— Прежде не пил: здесь у тебя научился.

— Ага! А между тем теперь лето. Запереть бы тебя в Хомутовке на зиму, когда сугробы нарастают вровень с окнами и волки приходят к воротам петть Лазаря... понял бы и не такое!

Несчастьем Анюткиной жизни были юбки, обладавшие волшебным свойством сползать с бедер своей злополучной владелицы как раз в самые ответственные моменты ее

служебной деятельности. Подает Анютка обед, — предательница-юбка уже расстегнулась и лезет вниз. Анютка взволнованно дергает локтями, в тщетном старании привести в порядок свои одежды. Котелок со щами катится по полу. Мерезов оптимистически замечает:

— Хорошо, что у меня описали столовый сервиз, и это не фаянсовая ваза.

Кухнею деспотически управляла стряпка Федора, из солдатских вдов, — «мирской человек», румяная баба, еще молодая, но чудовищной толстоты; Мерезов звал ее «вторым спутником земли в своей собственной атмосфере». От Федоры на пять шагов пыхало жаром кухонной печи. Когда в духе, — хохотуха и скромница, под сердитую руку — брөх. Почти каждое утро она делала нашествие к нашему чайному столу и звонко орала:

— Пожалуйте денег!

— Федора, — морщился Мерезов, — когда придет доктор, я попрошу освидетельствовать тебя, не переодетый ли ты протодьякон.

Федора фыркала и вылетала бомбою за дверь, чтобы отхохотаться на свободе, но, по

возвращении, настаивала:

— Денег пожалуйста. Говядины ни синь-пороха.

— Но еще нет недели, как Савка привез из города полтора пуда?

— А льду он привез ли? — азартно прикрикивала Федора. — Гляньте в погреб: одна вода. Говорила по зиме, чтобы поправить крышу, — не послушали. Нешто у нас — как у людей? А теперича, что покупай убоину, что нет, — одна корысть: червей кормить. Благодарите Бога, что Галактион привез нонче тушу с ярмонки из Спасского, не то насиделись бы голодом до городского базара. Пожалуйста денег.

— Спроси у Анютки. На днях я субсидировал ее пятью рублями.

— Когда это было? — отзывалась Анютка, — под Вознесеньев день, а у нас завтра Троица. Да сами же, опомнясь, взяли у меня रुपь семь гривен — продули доктору в стуколку.

— Анюта, ты меня убиваешь, хотя точная отчетность твоей кассы достойна уважения. Остается одно — совершить заем у друже-

ственной державы. Саша, раскошеливайся.

Если у меня не было денег, Мерезов трагически восклицал:

— Министры! убирайтесь к черту! Государство — банкрот. Кормите вашего повелителя плодами собственной изобретательности.

Тогда Федора поднимала на ноги всех домочадцев: «государственный совет» in cogroge [6] ползал в Оке, выдирая из береговых подмоин тощих раков; Анютка металась по двору, в крапиве, пытая сонных насекомых, не снесла ли которая яйца, на наше счастье; сама Федора копала в огороде какие-то сомнительные корни и травы или, с подойником на плече, летела в стадо; а Савка являлся ко мне с ружьем и ягдташем.

— Гуляем, что ль, Лексан Лентиныч? Приказывает Федора, чтобы непременно раздобыть ей к обеду болотного быка.

Калёб сира Эдгарда Равенсвуда [7] вряд ли равнялся Савке в находчивости, когда ему предстояла задача напитать как-нибудь и безденежных господ и себя. Однажды, в такую тощую пору, приводит он к обеду гостя, великовозрастного гимназиста из недалней

усадыбы. У Мерезова вытянулось лицо: чем мы накормим этакого парнищу? Я набросился на Савку:

— Ты с ума спятил?!

— Очень даже в уме, Лексан Лентиныч. Потому, шагал я по болоту три часа, не вышагал ни бекаса, — вот оно, ружье: неразряженное. А навстречу — этот долгоногий, полон ягдташ. А мне намедни сказывал ихний кучер: очень, говорит, желательно нашему барчуку свести компанию с вашими господами. Я сию минуту картуз долой: ах, говорю, сударь! а я было правил к вам в усадьбу: Василь Пантелеич и Лексан Лентиныч приказывали беспременно звать вас к обеду. Он — на большом удовольствии — и высыпал мне, в презент, всю свою сумку полностью. Мне того и надо. Я — дичь в ягдташ да к Федоре.

Мерезов был мастер на карточные фокусы. Савка это знал. Заночевал у нас молодой гуртовщик, проезжий в губернию. Перед ужином уселись играть в рамс. Савка нет-нет заглянет в двери и все делает мне знаки. Я вышел:

— Что надо?

Савка зашептал:

— Вы скажите барину, чтобы того... не робел...

Он показал рукою, как делают вольты.

— Парень слепыш и ослица двукопытая: ничего не заметит. А денег с него грести можно сколько угодно.

Когда я крепко обругал Савку за его проекты, он не понял — за что? Он своим господам желает добра, и ему же достается!

Мерезов определял этого хитроумца то цитатой из «Сорочинской ярмарки»[8]: «на лице его читались способности великие, но которым на земле одна награда — виселица», то некрасовскими стихами:

*Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур.
Он же тайный похититель
Индюков и кур.*

— Ты бы, Савка, хоть с нами делился, — зубоскалил Мерезов. — Знаешь, Саша: этот ферт заполонил всех баб на деревне.

— Уж и всех! — самодовольно огрызнулся Савка, — куда мне их столько, добра такого?

— Глаза у тебя завидущие.

— Ничего не завидущие: я отобрал себе

только какие с лица получше, а рябых — всех, как есть, вам оставил.

— Хвастунишка ты, Савка.

— Быль молодцу не в укор, Василь Пантелеич.

— Забыл, видно, как проучила тебя Галактионова Левантина? Представь, Александр: девка, обидевшись Савкиным ухаживаньем, пожаловалась братьям, а те залучили нашего Дон-Жуана к себе во двор, сняли с него одежду да и прогнали его через всю деревню до самой усадьбы вожжами по голому телу.

— Нашли кого поминать — Левантину! — равнодушно возражал Савка. — Левантина — разве девка? Идол; прямо сказать, статуя, стоек бесчувственный. Пока ее из дуба обтесали, десять топоров сломано.

— Слыхал ли ты, Савка, про лисицу и зеленый виноград?

— Слыхивал. Насчет винограду кому-нибудь ровно бы надо погодить дразниться. К Левантине примазывались иные и почище нас, одначе и им пиковый антирес указан.

— Молчи, животное!

Из соседей-дворян Мерезов ни с кем не

знался.

— Что за радость, — объяснял он, — смотреть на оскуделую голь? Кругом на сто верст ни одного порядочного землевладельца. Нищие с кокардами. Мне надоела и своя нищета — до чужой ли?

— Неужели не найдется интересных живых людей?

— То есть образованных, что ли? Вероятно, есть. Да мне-то что в них? Я сам образованный.

— Все же... общение мыслей, интересов...

— Это у нищих-то?! — Мерезов качал голову:— У нищих, друг, не общение, но разобщение интересов, потому что у каждого смотрит из глаз свой голод, каждый зарится на кусок соседа. А у образованных и совестливых прибавь к этому еще тяжелую подозрительность: ах, не заметил бы гость, сохрани Боже, что мы не принцы, но санкюлоты[9], что мы щеголяем не в парче, но в ситцевых лохмотьях... Тоска!.. Притом того гляди — женят. Невест в уезде несть числа, и за каждую приданого — частый гребень, да веник, да алтын денег, было бы с чем в баню сходить. Есть хорошенькие. В

здешней скуке — долго ли до греха? Я человек чувственный, слабый. И не заметишь, как Ис-айя возликует[10].

— Но почему бы тебе, в самом деле, не жениться?

— На ком? на образованной нищей — с по-пурри из «Цыганского барона»[11], с платьями по модам из «Нивы», с восторгами к господину Бурже[12] в русском переводе, с мигренью, истериками, с еженедельными поездками в город к докторишкам и аптекаришкам? Покорнейше благодарю. Уж лучше, если при-спичит жениться, я впрямь осчастливорю сво-єю рукою и сердцем Галактионову Леванти-ну, Анютку, Федору, любую девку с Хомутов-ки.

— Такая будет тебя бить, — засмеялся я.

— А я ее. По крайней мере, обоюдное удо-вольствие: род домашнего спорта. Образован-ная же нищая меня тоже побьет, — у нас в околотке все благородные супруги дерутся между собою, — а я не посмею побить ее. Ибо я воспитан в рыцарских преданиях, а она предполагается дамою, и всякое семейное без-образие извиняется ей по праву деликатной

натуры, нежного воспитания, возвышенной души и расстроенных нервов. С Левантиною я хоть буду уверен, что, после какой угодно драки, мне все-таки сварят щи и что мои дети родятся без английской болезни. Ты толькообрази, какая пошлость — английская болезнь в русском захолустном ребенке! Очень может быть, что Левантина года через два после брака завопит, что я — распостылый и загубил ее, молодую; но она не будет требовать от меня, с ножом у горла, отдельного вида на жительство, а получив таковой, не потащит мою фамилию на подмостки столичного кафешантана. Тем не менее будем надеяться, что и сия брачная чаша, — то есть в образе Левантины, — меня минет!

Родитель этой Левантины — Галактион Комольй — держал в руках всю Хомутовку, посредничая между местными кустарями-токарями и губернскими скупщиками. В околотке звали его «купцом». Мы с Мерезовым часто ходили к Галактиону пить чай: он это любил — похвастать перед господами своей новою избою, с чистою горницею, под обоями, с царскими портретами по стенам и огромным

киотом, полным темных ликов в серебряных венчиках, в красном углу. И самовар у Галактиона был господский — пузырем, красной меди, и чай — с цветочками, и ром — из губернии, а не от Федулки Пихры. Сам Галактион был еще кулаком-патриархом, на деревенский лад, но сыновья его, — их было четверо, — уже тянули к городу во всем: в платье, в разговоре, в подборе компании, в манерах и взглядах. Деревню презирали, в мужике видели батрака, повинного работать в ихней кабале до конца дней своих, и глубоко огорчались, что старик Галактион, по старине, не хотел торговать ни землею, — грех, потому что Божья, ни водкою, — грех, потому что сатанинская. Все — словно ястреба: сухие, жилистые, востроносые, лица худые, скуластые, с красным подтенком, глаза серые, пристальные, быстрые. Силачи — на подбор. Старший, Виктор, играючись, взваливал на спину десятипудовый куль муки — и несет, бывало, через всю деревню к нам в усадьбу... добрых три четверти версты по косогору! Воображаю, как сладко пришлось Савке, когда эти парни приняли его в четыре вожжи. Молодых Комолых

на деревне побаивались.

— Строгие ребята! — говорили о них.

Имена Галактионова потомства были — по крестьянству — удивительно громкие: Виктор, Валериан, Аврелий, Евгений, а дочери — Валентина, Маргарита и Юлия.

— Что это, Галактион Игнатьевич, вздумалось тебе накрестить их так чудно? — спросил я как-то.

Он отвечал с досадою:

— Кабы я? Мисайловекий поп начудачил. Опосля Вихторки, как родила старуха Левантину, я было молил его: назови, батя, девку по бабушке, Лепестиньей. А он — не в добрый час — как затопаёт на меня: «Господи! — говорит. — Ты один видишь, сколь я от ихнего невежества страдаю... Даже и называться-то по-людски не хотят! Не Лепестинья, дурак! — такого имени и в святцах нет, язычник ты этакий! — но Епистимия, мученица, память же ее празднуется новембрия в шестый день, а канун кануна Михайлова дня... рассуди же, говорит, сам: как я возьму на душу такой грех — нареци дочери твоей имя, которого ты, по сероте своей, и выговорить путем не

умеешь?..» И назвал девку Левантиной; это, говорит, имя благородное, означает «сильная духом», и во всех книгах о том пропись прописана. Ну — что ж? Мне с попом не спорить: у попа книга. Левантина так Левантина! Оно — ничего: имя ситцевое, для девки живет...

Впоследствии я познакомился и сдружился с мисайловским батюшкою — отцом Аркадием Дилигентовым. Он оказался превосходнейшим человеком и действительно чудачком, единственным в своем роде. Кончая семинарию, он увлекся театром и чуть было не ушел в актеры. Родители пришли в ужас и поклонились владыке — поскорее дать молодому человеку место и невесту.

— Да ведь он первым кончил, — изумился владыко, — ему бы в академию...

Но, узнав, какая блажь влезла в голову Дилигента, внял — и положил резолюцию:

— Ничем нелепствовать, послужи-ка честному алтарю.

Поп из Аркадия вышел хороший — смирный и бескорыстный, но со «слабостью». Мужики его хвалили: «просвещенный поп». В

свободные от «слабости» промежутки о. Аркадий по целым дням лежал у пруда, с удочкою, уткнув нос в книгу. Читал он массу — и все помнил, точно фотографировал в мозгу. Подвыпив, чудесно играл на скрипке старинные полонезы Огивского. Расстроив себя до слез их меланхолическими звуками, Аркадий усаживался на крыльце своего домика и взывал на все село:

*Из-за Гекубы!!![13]
Что ему Гекуба?
Что он Гекубе?!*

Эти декламационные экстазы дали непочтительной пастве повод прозвать самого о. Аркадия — Якубою.

Чем питался Якуба, оставалось загадкою, не легче способов прокормления нашего Хомутовского «государственного совета». В хозяйстве он был лентяй, в пастырстве бесребреник. К счастью, он был вдов и бездетен. Бог знает, как и когда этот беззаботный человек успел, однако, обучить грамоте почти все Мисайлово. Как, бывало, заметишь парня или девку посмышленее, — так и знай, что из Ми-

сайловки, — выученики о. Аркадия. Служил «просвещенный поп» трогательно, часто в слезах. Меня изумляла его память: он знал наизусть все драмы Шекспира, все трагедии Шиллера, всего Пушкина, свободно цитируя стихов по триста подряд. Поэтическая начитанность развила в нем несколько комическую слабость к красивому звуку; скитаясь по околотку, я убедился, что о. Аркадий облагородил имена не в одной семье Галактиона: в каждом доме — Лидии, Клавдии, Зинаиды, Зои, Антонины... нашлась даже Цецилия, из которой — увы! — деревенское неведение выкроило-таки довольно конфузное уменьшительное...

Галактион держал дочерей строго. Мать не спускала с них глаз ни в поле на работе, ни в гулянку на улице. Девка во дворе под навесом доит корову, а материнский глаз следит за нею из окна, не зубоскалит ли она через плетень с парнями... Впрочем, девушки и сами были не из приветных: чванные славою богатых невест, надутые, недотроги. Левантину, которая считалась в семье и на деревне красавицею, Савка недаром обзывал бесчув-

ственным стоеросом. Лишь в замоскворецких купеческих теремах да между левантинками Босфора встречал я потом женщин, настолько полных тупой, животной-скудной надменности, самодовольства и самообожания. Диво, что зародилась такая в крестьянстве, хоть и в кулаческой семье, лезущей в купцы и на купеческий лад настроенной.

— Чуден вид Левантины, — декламировал Мерезов, — в воскресное утро, когда, пышная, она несет себя на мисайловский базар, подобно драгоценному и хрупкому сосуду.[14]

Прослыть красавицей Левантина могла лишь в невзыскательной приокской деревне. Так — рослая, белотелая, раскормленная девушка, с желтою косою до пояса и бледными глазами «по ложке» на круглом лице. Но было-таки что-то влекущее в этой сытой двуногой телке: молодежь по ней убивалась, Савка из-за нее допустил отодрать себя вожжами... Зато женщины ненавидели Левантину. Каждый раз, что мы пили чай у Галактиона, — а что грех таить? охота поглазеть на Левантину была главною приманкою этих чаепитий, — на другой день Анютка топотала пятками и

швыряла дверьми особенно громко, мела полы особенно пыльно и сорно, юбки отказывались ей повиноваться с учащенной бесцеремонностью, а наплаканные глаза окружались красною опухолью.

На Петров день Хомутовка здорово гуляла. Мы с Мезеровым ехали в беговых дрожках, на утичий перелет, сквозь совершенно пьяную деревню. К нам привязался Артем Крысий, бобыль с Подшиваловских выселков, версты за две от нас. Вино повергло этого парня в весьма горделивый припадок.

— Великий я человек! — голосил он, — первый по уезду! И бабы меня любят! Ваши благородия! честь имею поздравить, каков я человек! Пожалуйста на двадцатку, — вот я каков человек!

Улица в Хомутовке сыпучая, косогор. Дрожки вязли, наш мерин ступал шагом. Крысин — длинный и тощий, с маленькою головкою, точно скворечницею на шесту, — бежал рядом с дрожками.

— Пожалуйста на двадцаточку, — трещал он, мигая желтыми глазами так проворно, что казалось, будто они прыгают по его бес-

цветному лицу. — Господа премудры: могут понимать Крысина. А мужик дурак. Мужик водит к Крысину овцу — червя сводить. Крысин слово знает. Мы под Плевною, за генералом Ганецким, в землянках животами болели. Сорок товарищев померло, а я — вот он. Потому положил на себя такой урок, чтобы не помирать. Я слово знаю. Отчего, опять говори, меня бабы предпочитают? Теперича, скажем, полюбилась Крысину отецкая дочь: наша будет и на гостинцы не потратимся. Я слово знаю. Ваши превосходительства! извольте приказать Крысину, какую девку в Хомутовке он добывать должен?

— Вон — попробуй: добудь эту! — расхохотался Мерезов.

Мы ехали как раз мимо Галактионовой избы. Нарядная Левантина сидела у ворот с Маргаритою, Юлькою и тремя подружками.

Крысин воззрился:

— Которую? — толстую-то? белоглазую?

И вдруг, нелепо раскинув руки, ринулся к девушкам неверным, пьяным бегом, вопя:

— А-х! кого ж девки любят? кого красные голубят? Артемия Крысина... и со чады его!

Девушки с хохотом и визгом пустились наутек. Крысин споткнулся, упал на живот и не смог подняться. Он долго что-то бормотал, поминая Левантину, которая между тем, стоя в калитке, не удостаивала поверженного пьяницу даже взглядом. Она лушила подсолнухи, доставая их из передника, розового, как рукава ее рубахи, как ее волосы и шея, в румяных лучах вечерней зари... Мерезов инда языком щелкнул:

— Экий кусок — девка!

*Мол — женись, мол — женись,
А то лучше отвяжись!*

запел я ему из «Вражьей силы»[15]. Каюсь: по тогдашней юности лет моих, я наблюдал флирт, которым мой друг преследовал Левантину, не без тайной зависти и довольно ехидно утешался полною безуспешностью его ухаживанья.

Когда к нам в усадьбу наехал наш частый гость и неизменный обыгрыватель, земский врач, Галактионова старуха привела Левантину попросить средствца: девка мается гнеткою.

— Ты красавица, видно, студено напилась на сенокосе? — спросил доктор. — В сенокос у меня все такие больные. Хватит, сторяча, потная, родниковой водицы, — и готова.

— Не... — протянула Левантина. — Я воды не пила. Кваску точно хлебнула намедни, как дометывали копны. Одначе теплый был, квасок-от...

— Ну, верно, квас у тебя нехороший.

— Не: наш, на погребу, дюжо удался... Я чужой пила... Артемка подшиваловский у соседей в помочи работал: увидал, что мы с Маргаритой запарились, угостил из бурака. Маргарита попробовала, ей не по вкусу пришлось, выплюнула. А мне больно пить хотелось, — одолела полбурака. Точно, что кислый, ровно бы с мутью.

Доктор дал Левантине опийной настойки, велел пить мяту, и девушка быстро оправилась.

Выхожу одним утром к чаю — на великий спор.

— Вообрази, — встретил меня Мезеров, — министры уверяют, будто *notre belle et toujours charmante Levantine* [16] болела —

passons le mot! [17] — пузом неспроста.

— Знамо, неспроста, — горячо подхватила Федора, — с чего ей болеть, кабы не лихой человек? Все пьют квас в поле, и Левантина сколько раз пила, а ничего, не болела! Девка — печь: от кваса ли ей подеется? Нет, ты, Василь Пантелеич, не спорь: тут не без наговора. Мы тоже на миру живем — не глухие: слышали от людей, что Артем на Левантину намерялся... Да и мудреное ли дело? Нетшто ему, коновальской совести, первую девку портить?

— Стало быть, он у вас колдун? — спросил я.

— Колдун не колдун, а знает.

— Что знает?

— Уж это ты его спроси: я с ним вместе не ворожила.

— Так-то, — вступилась Анютка, — он третьим летом обвел дьячиху в Мисайловке. Тоже спервоначала заболела, а потом, глядь, и скрутилась... Срамота! Средь бела дня к нему бегала.

— Дьячок-то Артемке в ноги кланялся, — гласила Федора, — помилосердствуй, Артем

Филипыч, отпусти бабу на волю, развяжи от греха. Три рубля слушил с него Артемка в ту пору, чтобы снять свою порчу с дьячихи: вот оно как было крепко завязано.

Я заметил:

— Если бы дьячок проучил хорошенько и жену, и Артема, дело, пожалуй, обошлось бы и без трех рублей.

— Ишь, тебя не спросили — сами не догадались! — огрызнулась Федора. — Ты спроси дьячиху, чего не приняло ее белое тело. Муж ее в кадку сажал да в кадке по всей Мисайловке катал: вот как она мало учена! Убил бы, пес, бабу, кабы отец Аркадий не заступился.

Мерезов обратился ко мне:

— Ты скучал, что в деревне мало романтического элемента. Бог посылает тебе на шапку Демона, который сводит червя с овец, и Тamarу, которую катают по селу в кадке. И как тебе нравится таксирование супружеской верности в три рубля... в целых три рубля? Федора говорит о них с благоговением.

Вскоре все бабы на Хомутовке шептались, что «Артем намеряется», и предупреждали о том самое Левантину. Но «стоерос бесчув-

ственный» и тут не изменил природной гордыне и, на слова доброжелательниц, только презрительно отплевывался.

А затем произошло вот что.

Старший Галактионов сын Виктор ставил на Оке вершу; возвратясь к ужину, он рассказал, что рыбаки из Введенского, ближней деревни, крепко побили Артемку Крысина.

— Вишь ты, подглядели они, как он правил на Оке свою ворожбу. Разделся в лозняке, будто купаться, взял краюху хлеба и трет себя краюхою по голому телу, а сам причитает. Введенцам это не показалось. Зазвали они Артемку в кабак, — стаканчик, другой, стали спрашивать: видели мы, Артемий Филипыч, твои чудеса; скажи, сделай милость, зачем ты уродуешь такое над собой? А он, с пьяных глаз, и хвастни: я, говорит, стану тот хлеб в квасу мочить, а квасом девок поить, и которая выпьет, та будет любить меня пуще отца-матери. Тут введенцы и приложили к нему руки: диво, как он, прыткий нехристь, цел ушел.

Пока Виктор говорил, вся сидевшая за ужином семья уставилась на Левантину, по-

раженная одною и тою же жуткою мыслью. Все сразу поверили, что Левантина испорчена, и она сама поверила. Она сидела белая, как плат, с бессмысленными глазами. Потом бросила ложку, схватилась за грудь, порывисто встала из-за стола, опять села и опять встала.

— Я... квас-то... пила, — прохрипела она, и с нею сделались корчи. Целую ночь она билась в истерическом припадке, не унимаясь ни от воды с уголька и громовой стрелки, ни от раствора четверговой соли, ни даже от свяченой вербы, которою, в усердии, сильно исхлестали плечи, спину и живот больной.

Поутру мы, оповещенные молвою, зашли к Галактиону взглянуть на порченую. Старик встретил нас очень встревоженный; рябоватое лицо его было красно, потно и пестро от постоянного утирания рукавом. Левантина, успокоившаяся лишь засветло, проснулась незадолго до нашего прихода и сидела еще в сонной одуре. Остальная семья, кроме старухи-матери, была в поле.

— Что с тобою, Валентина?

Она подняла глаза.

— Ничего-с...

— Как ничего? А припадок? Да ты погоди, не хнычь!.. Болит у тебя что?

Она потерла рукою около сердца.

— Тут сосет... и ровно бы подкатывает.

Очевидно, Левантину душил *globe hystérique* [18].

— Вот и верь наружности! — заметил Мерезов, — кто бы мог думать, что ты нервная.

— Чего-с?

— Пуглива очень.

— Как не пужаться, батюшка? — застонала

старуха-мать, пустив обильные потоки слез по морщинистым щекам, — экое, злодей, горе навел на девку... срам в люди выйти.

— Полно врать, Анна Матвеевна, — перебил Мерезов. — Никто ничего на нее не навел; эта болезнь самая обыкновенная, называется истерией. Если вы все, а в особенности ты сама, Валентина, не будете уверять себя в глупостях, так она пройдет без всяких лекарств.

Старуха слушала и качала головою, с откровенным недоверием. Галактионов поддакивал:

— Так-с... вот оно что-с...

Но уже по конфузливой суетливости, с какою он обдергивал на себе рубаху, я видел, что он поддакивает только из вежливости, не верит ни в одно слово Мерезова, и барин, по его мнению, говорит великие глупости. Левантина сидела в оцепенении, точно речь шла не о ней. Я сбегал в усадьбу за гофманскими каплями. Левантина проглотила лекарство с неохотою: зачем, мол? все равно не поможет...

— Прошло?

— Нет, сосет.

А у самой глаза все больше и больше выцветают под серым налетом суеверного ужаса. Так мы ее и оставили, в предчувствии нового припадка и в молчаливой, но твердой вере в свою порчу. Повстречали Виктора: едет зверь зверем на сенном возу. Скатился на землю.

— Что, господа, слышали наши дела хорошие? Я, Василь Пантелеич, теперь в одной надежде — переломать подлецу Артему ноги колом.

— А я, Виктор Галактионыч, посоветую тебе — не горячись. Изуродовать человека и попасть за это в острог недолго. Я было думал, что ты, как парень грамотный, бывалый, не веришь пустякам. Но уж если и ты поддаешься этой дури, постарайся покончить дело миром, без насилия. Если ты считаешь Артема способным посадить болезнь в женщину, то он должен уметь и снять ее обратно. Поговори с ним.

— Барин хороший! как я буду с ним говорить, коли у меня сердце кипит? Я было уже искал его сегодня... с колом-то... Догадлив,

треклятый: ударился в лес, будто за дровами... Да нет, брат, шалишь! у нас не отбегаешься! найдем! Девочек портить... это что же такое?

— Ну, если ты не можешь спокойно перетолковать с ним, давай, я поговорю.

— Благодарствуйте, — подумав, сказал Виктор. — Известно: вас он лучше послушает. А ваша, Василь Пантелеич, правда: хоть мы много обижены, худой мир лучше доброй ссоры. Если ему, собаке, надо сорвать с нас денег, вы, барин, обещайте, не скупитесь: тятенька для Левантины не пожалеет...

— Хорошо... Хотя — вместо денег, не пообещать ли ему лучше урядника?

— Урядником ли, за деньги ли — только, чтобы он нашу девку освободил. А не то — не быть ему, смердюку, живу. Так и скажите. Я, брат, шуток-то не очень уважаю.

— Ишь какой Валентин своей собственной Маргариты![19] — засмеялся Мезеров, провожая Виктора глазами. — Ты посмотри, как он сидит на возу: даже в спине чувствуется угроза. Конечно, я говорил очень благообразно, но, сказать откровенно, было бы превесело сравнить его с Артемкою.

— Черт знает что лезет тебе в голову, Василий Пантелеич! Убийства захотелось!

Мерезов покраснел.

— И представь: совершенно искренно, — проворчал он, — Вот оно, одичание-то. У людей горе, а ты пуще всего боишься, чтобы оно не разошлось пустяками и не пропал для тебя трагический анекдот.

Мы отправили Савку на поиски Артема. Пришел Галактион: Левантине опять было нехорошо. Он просил у Мерезова лошади — доехать девке с матерью до Мисайловки.

— Хочешь свести к фельдшеру? Хорошее дело.

— Я так полагаю: не лучше ли к батюшке? — замялся Галактион.

— Покажи и фельдшеру, и батюшке; в один конец коня-то гонять. Но как же Левантине ехать вдвоем со старухой? Твоя Матвеевна — тоже сосуд скудельный; я думаю, сама не помнит, когда была здорова. Если с больною случится в дороге припадок, она и помочь не сумеет.

— Что поделаешь, Василь Пантелеич! Горячая пора: больше посылать некого. Сено сво-

зим. Все: и люди, и лошади — в лугах. У меня своих четыре коня, а вот пришел кучиться твоей милости насчет меренка. Жарынья парит... не дай Бог скорого дождика: сгноит весь сенокос. Вот и поспешаем, как в котле кипим. И то горе, сударь, что Левантина занедужала: две руки вон из поля... как других-то отнимешь от работы?

— Саша, — сказал Мезеров, — мы давно не были у отца Аркадия. Не проехаться ли за компанию?

Я не имел ничего против. На прощанье Мезеров долго внушал Галактиону, чтобы он присматривал за Виктором и не допустил сына до какой-нибудь мстительной дикости.

— Слушаю, батюшка, — печально согласился старик.

До Мисайловки считалось верст восемь. Больную с матерью усадили в телегу на сено. Мезеров правил. Я сел на облучок. Едва телега тронулась, Левантина почти тотчас же задремала. Я следил за нею. Она, заметно, грезила. Мало-помалу ее сонное и при сомкнутых глазах грубоватое лицо оживилось улыбкою — чувственной и самодовольною. Губы раскры-

лись, на щеках разыгрался тяжелый румянец. Сон забирал ее глубже и глубже. Она начала бормотать. Мерезов оглянулся и головой тряхнул: очень уж привлекательною показалась ему Левантина с этим новым для нее страстным выражением в лице, с таинственным лепетом на губах... Вдруг она вскрикнула, взметнулась и — сразу все лицо и шея в поту, как в бусах, — села в телеге, дико озираясь мутными глазами.

— Привиделось что-нибудь страшное? — спросил я.

Она прошептала:

— Не...

Но потом, утирая лицо передником, прибавила:

— Так... мерезжит...

— Что мерезжит? — не понял я.

— Нечто... маячит...

— Коротко и неясно! — проворчал Мерезов, постегивая кнутом меренка.

— Ты не бойся: это от дурноты, — утешил я Левантину. Она молчала.

— Под ложечкой все томит?

— Томит.

Мы огибали хомутовский крестьянский лес. Левантна шепталась с матерью, вероятно рассказывая ей свой сон, и, должно быть, очень страшный, потому что худое лицо Матвеевны вытянулось выражением мертвого ужаса; она охала и крестилась. Глядя на встревоженную мать, Левантина распустила губы и захныкала без слез, но с ревом, словно блажной ребенок. Она завывала до самой Мисайловки, но, въезжая в околицу, сразу оборвала свою волчью музыку и утерла кулаком сухие глаза.

Мы издалека слышали широкий разлив скрипичных звуков. О. Аркадий встретил нас уже слегка в настроении Гекубы.

— Откуда вы, эфира жители? — завопил он и не хотел ничего слушать о деле, пока не угостил нас водкою и таранью. Мы объяснили, зачем приехали. О. Аркадий слушал на ходу, бегая по своему маленькому зальцу из угла в угол, широко вея полами парусинного полукафтаныя и рыжею бородищею, которую он сам называл «небесною метлою». Потом стал в позицию, таинственно сощурил зеленоватые глазки и зачитал:

*Но слушай: в родине моей
Среди пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.
И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наищу чарами привлечь
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.*

[20]

Он окинул нас торжествующим взглядом, щелкнул языком и подбоченился.

— Каково прочитано, ребята?

— Отлично, батя: хоть бы Александру Павловичу Ленскому.

— Ага! меня Николай Карлович Милославский, Василий Васильевич Самойлов, Иван Васильевич Самарин, Николай Хрисанфович Рыбаков[21] слушали и одобряли... А я сижу,

как пень, в Мисайловке, и ко мне возят отчитывать порченных девок! Я царь, я раб, я червь, я бог![22] Слушайте, братцы!

Он схватил скрипку и запилил по струнам с диким воодушевлением. Мерезов нахмурился:

— Ты, Александр, недавно попрекнул меня, что я ничего не читаю, — заговорил он. — Вон — ответ тебе, полюбуйся: хорош наш Гекуба?

— Чтение-то при чем?

— При том, что я глупостей не чтец[23], а умная животворная книга порождает волнения, опасные для нашего брата, слабохарактерного человека, заброшенного на дно колодца... Помнишь, как у Щедрина меринос захирел и издох оттого, что увидел во сне вольного барана?[24] Мы, брат, тут тоже мериносы в своем роде. Прозябаем и так и сяк, пока спит мысль, пока чужая далекая жизнь не видна и не завидна. А чуть растормошил себя — и окружают тебя насмешливые и укоризненные призраки, и... и сам не заметишь, как либо сопьешься, либо удавишься.

Мерезов спохватился, что говорит с чрез-

мерным волнением, и перешел в свой равнодушно насмешливый тон.

— А мне жизнь дорога, и водка здешняя не нравится. Поэтому — черт с ним, с вольным бараном! Пускай его Гекуба видит... Хочешь, я покажу тебе, откуда его «слабость»? Вот он лежит, корень-то зла.

Мерезов кивнул на толстую книгу, забытую на подоконнике. «Шопенгауэр. Мир как воля и представление», — прочитал я на корешке.

— Это ты верно! — торжественно возгласил о. Аркадий, опуская скрипку. — С него началось, с Шопенгауэра[25]. Ибо он меня сперва огорчил, а потом вознес.

— Всякий раз запивает, когда проглотит книгу себе по сердцу, — объяснил Мерезов.

Аркадий мотнул своею сверкающей бородою:

— Верно! Потому что тогда дух мой жаждет парить, а мысль расшириться, — горизонт же мой низок и узок, и вмещаться под него, без этого напитка, весьма огорчительно.

— Хорошо парение духом — к выпивке!

— Врешь, киник! подтасовываешь! Я не па-

рю к выпивке, но выпиваю, скорбя, что парить бессилён.

— Ну, не пари, семинария несчастная! кому надо?

— Мне надо, ибо я не самоотчаянный киник[26] и не эгоист, подобно тебе, погрязший в животном самосохранении, но любопытный и доброжелательный человеколюбивец, алчущий знания и надежд... «Духа не унижайте!», — сказал апостол.

— Пришибет тебя кондрашка — вот тебе и будет знание, — с досадою сказал Мезеров.

— Эк чем испугал! — равнодушно сказал Аркадий, набивая рот таранью.

— Смерть, стало быть, не страшна?

— Чего ее бояться? Я не троглодит, мню себя бессмертным быти. У Бога, брат, все на счету. Блажен раб, его же обрящет бдяца. Позовет Он мою грешную душу, — вот он я, Господи, весь, каков есть... со всем моим удовольствием.

— В таком-то неглиже, пожалуй, и неудобно явиться, — поддразнил Мезеров.

О. Аркадий невозмутимо отразил насмешку:

— Уж это — Его воля: каким позовет, таким и предстану. Грех мой со мною и вера моя, упование жизни моей, при мне. А Он, брат, благой — не нам чета, людишкам зложелательным, насмешливым и брезгунам... Он вникнет и разберет...

— Ты и мужикам это внушаешь?

Аркадий мотнул головою:

— И мужикам.

— То-то твоя Мисайловка вовсе с пути спилась!

Аркадий не смутился:

— Да ведь и ты вовсе с пути спился, а тебе я никогда ничего не внушал.

Мерезов не нашелся что ответить.

Я напомнил о Левантине и Матвеевне, ожидавших на крыльце. Мерезов поднялся с места:

— В самом деле, пойдём-ка, поп.

Я остался в комнате, убоясь солнечного пекла. На полочке под образами я заметил черную книжку, календарь-поминанье Никольского издания. От нечего делать я стал просматривать длинный список друзей, сродников и излюбленных прихожан, записан-

ных о. Аркадием за здоровье и за упокой.

Мерезов возвратился: бабы пожелали говорить с о. Аркадием наедине.

— Что ты нашел? — спросил он, заметив улыбку на моем лице.

— Взгляни.

Под 7 апреля отец Аркадий записал: «Упокой, Господи, душу раба Твоего боярина Георгия (он же Гордей) из англиканских иноисповеданцев». Под 27 января был помянут боярин Александр, от супостата несправедливо убиенный. Иноверец-англичанин Василий предназначался к поминовению во все дни.

Мерезов расхохотался.

— Экий чудище! Ведь это он поминает своих любимцев лорда Байрона[27], Пушкина и Шекспира[28]. Совсем дитя этот поп! даже трогателен. Батька! — обратился он к входящему Аркадию, — что ты чудишь? Вздумал молиться за упокой шекспировской души!

— Коли я его люблю?! — пробормотал Аркадий, опускаясь на стул.

— Смотри: дойдет до благочинного — будет тебе ужо «иноверец Василий»!

Аркадий махнул рукою:

— Доходило... Сосед донес... Знаешь, емельяновский Вениамин, что в воротничках ходит и таксу за требы завел...

— Что же?

— Ничего. Благочинный вызвал в город. «Правда ли, говорит, будто вы молитесь за упокой иностранного писателя Вильямса Шекспира, именуя его иноверцем Василием?» — «Сущая правда, ваше высокоблагословение». — «Зачем же это?» — «Затем, что ежели я, любя сего писателя и желая ему небесного царствия, не помяну его, кто же другой догадается его помянуть? Молитва же и Шекспиру нужна, как всякому покойнику...» Ну, благочинный — он у нас академик — принял мой резон... опять же каноническими правилами оно не запрещено... отпустил меня с миром. А Вениаминке — нос.

Мы возвратились в Хомутовку вдвоем с Мерезовым, без Галактионовых баб, потому что о. Аркадий приказал Левантине остаться до другого дня, на обедню и молебен об исцелении болящей. Ехали мы довольно мрачно. От жары и вина у Василья Пантелеича разболелась голова и разгулялись нервы.

— Проклятая судьба! — твердил он, — проклятое безденежье! Не угодно ли медленно издыхать в безвинной ссылке, в медвежьем углу, где еще привораживают девок и сентиментальный поп записывает в поминанье Василия Шекспира!

— Кто тебя держит здесь? Поезжай в Москву, возьми службу.

— На пятьдесят целковых в месяц? Спасибо.

— А тебе — чтобы прямо в рот летели жареные рябчики?

— Так воспитан — не перевоспитываться стать на тридцать третьем году. Разве определиться учителем хороших манер к коммерции советнику из бывших свиней? Говорят, недурно платят и хорошо обращаются: даже метрдотелем не зовут. Но ведь я все-таки Мерезов. Одного моего предка царь Петр повесил за ребро, другого Борис Годунов за шею, а третьего царь Иван посадил на кол. Как же мне, после кола, ребра и шеи, в прихлебатели к бывой свинье-то? Еще эти висельники-предки начнут сниться по ночам... А пятьдесят рублей в Москве — одна игра ума, на го-

лодный желудок. Здесь я, по крайней мере, сыт и — каков ни на есть — барин, а не пролетарий.

Артем поджидал нас. От перепуга, со злости, с недавних ли введенских побоев, он был желт, как пупавка.

— Изволили спрашивать? — хрипло спросил он, отвесив поклон и прыгая глазами то на меня, то на Мерезова.

— Изволили. Что ты, братец, наделал? А? Артем воодушевился.

— Барин! ваше высокоблагородие! Сами судите — вы господин, разум имеете, наукам обучались — статочное ли дело взводят на меня наши сиволапы? Кабы я знал бабий приворот, нешто бы я был Артемка-бобыль? Ступай бы прямо в губернию да полони самую богатейшую купчиху, со всем мужниным сундуком. Эка невидаль их Левантина, — глаза его блеснули враскос, — стану я из-за нее, белоглазой, губить душу, вязаться с нечистым! А Вихтарь Глахтионьч, между прочим, обещает меня извести... Господи! где же правда-то? Правда-то где, я говорю, Василь Пантелеич?

— Погоди, не трещи. Значит, ты не колдовал над Валентиною?

— Василь Пантелеич? Мудрый вы господин, наукам обучались: какое колдовство есть-живет на свете? Я — за генералом Ганецким — прошел наскрозь все Турещину; иначе и там видел колдунов не гораздо много, а больше ни одного. А они тут, идолы, в лесу сидя, до колдунов додумались. Коновал я хороший — это точно. Лечу лошадей, коров, знаю такую молитву против овец, чтобы стонять с них червя. А больше — хоть присягу принять — ничего мне не ведомо.

— Я, братец, и сам, без тебя, знаю, что колдунов не бывает на свете. Но видишь ли: кто, по суеверию своему, верит в колдовство и думает, что он околдован, тому может сделаться нехорошо, без всяких снадобий и наговоров, от одного воображения. Так, по моему мнению, заболела Валентина. У тебя скверная слава, что ты привораживаешь женщин... квасом, что ли, каким-то...

— Лопни глаза мои, напраслина, Василь Пантелеич.

— А помнишь, на Троицу ты сам похвалял-

ся над этим?

Артем досадливо передернул плечами:

— Запаятовал, ваше высокоблагородие. Хмелен был. Мало ли что у пьяного язык болтает — голова не знает. Кабацкая хмелина сильна: захочет — головою о тын ударит.

— А за что побили тебя введенские мужики?

— Опять глупость ихняя, ваше высокоблагородие. У мужика с наших выселков — Мокеем зовут — захромал конь: насекал в болоте на остролист. Я мастерил коню пластырь, а введенские дуроломы выдумали, будто я готовлю питье для девок. Необразованность!

— Объяснение правдоподобно, — заметил мне Мезезов по-французски. — Однако он что-то лжет.

Мне тоже сдавалось, что Артем, хотя издевается над колдовством, сам верит в него глубоко — и только заигрывает вольнодумством с неверами-господами.

— Что меня произвели в колдуны, тут, ваше высокоблагородие, я должен сказать спасибо мисайловской дьячихе, с нее пошло... что она, выходит, была со мною в грехе. Но я

тому ничем не причинен: она сама повесилась мне на шею. Не дубьем же было отбиваться от нее — не монах я. Народ видит, что баба дурит не путем, и загалдел: колдун Артемка, приколдовал дьячиху. А чего было колдовать? Вы, ваше высокоблагородие, видали ли дьячка-то? Мразь несуразная! От этакого мужа сбежишь и к водяному деду, не то что к Артемке... Насчет же колдуна я на народ не обижался; потому полагал так: пусть лаются, от слова не станется, а по коновальской части мне от этой славы, будто я колдун, даже большой фарт — верят крепче... Да вот и наковали себе беду!

— Надо ее поправлять, Артем. Девка болеет оттого, что убеждена, будто ты ее околдовал. Значит, ты должен расколдовать ее, то есть выгнать из нее это убеждение. А сделать это очень просто. Завтра я приглашу сюда Галлактиона, Виктора, самоё Валентину. Ты при них поцелуешь икону, что не имел, не имеешь и не будешь иметь злого умысла на Валентину и желаешь ей впредь доброго здоровья. Согласен?

Артем переминался с ноги на ногу — угрю-

мый, сутулый — и молчал, не поднимая глаз.

— Увольте, ваше высокоблагородие, — глухо пробормотал он наконец.

— Не хочешь? почему?

— Так... неподходящее дело...

— Странно, Артем, очень странно. Ты понимаешь ли, что своим отказом ты подтверждаешь подозрение Галактионовой семьи?

— Точно так-с.

— Ты подвергаешь себя большой ответственности и опасности.

Артем сделал плаксивое лицо.

— Я, ваше высокоблагородие, коли что, побегу к уряднику жалиться.

— А урядник, когда узнает, из-за какого дела Галактионовы ребята злобятся на тебя, отправит тебя к судебному следователю.

— Стало быть, погибать надо? — горько усмехнулся Артем. — Не в бессудной стороне живем, барин.

— Разумеется. Только мне сдается, что лучше бы тебе с Комолыми честью, без суда. Ты так опорочен, что на суде тебе придется плохо. Я не неволю тебя, поступай, как знаешь, но мое дело предупредить.

Долго длилось молчание.

— Нет, не могу я этого! — решительно воскликнул Артем. — Обидно очень.

— Твоя печаль.

— Хоть вы-то, Василь Пантелеич, не отступайте от меня, дайте сколько-нибудь защиты!

— Ну, брат, извини: я тебе указываю средство помочь делу, ты не согласен. Больше я ничего не могу придумать, чем тебя выручить. Будь что будет. Я умываю руки.

— Так-с...

Артем повесил голову.

— Больше я не надобен вашему высокоблагородию?

— Нет. Ступай.

Он шагнул к двери, почесал затылок и опять вернулся.

— Вот что, барин. Икону целовать я не стану. Дело не стоит того, чтобы беспокоить угодников. А — просто — скажите вы Вихтарю Глахтионычу, что — пес, мол, с ихней девкой! — я о ней и думать забуду, какая она. И он бы тоже свои дурачества оставил — насчет то есть дубья. Ну, и дары бы они мне присла-

ли: должен же я за свой срам профит иметь; за многим не гонюсь, но чтобы честь честью.

На том покончили. Наши министры, узнав, что Артем обещал оставить Левантину в покое, решили хором:

— Врет.

— Время волочит, — объяснила Анютка, — либо выпить хочется: надумал сорвать с Комолых мало что на кабак.

— Не таковский парень, — трубила Федора, — чтобы отступаться от своего. Тоже непутные-то, которых он держит на послушании, не очень любят, коли хозяин заставляет их работать понапрасну, — сперва испорти, а потом поправь.

Савка поддерживал:

— Да и девка больно зазнобила его. Энта — как поджидал он вас — разговорились мы по душам. Так у него, чуть помянешь Левантину, глаза светятся, ровно у волка. Плевать, говорит, я хотел на Вихтаря! Уволоку девку из-под носа у Комолых: моя будет. Не то что бить меня, — сами придут ко мне кланяться в ноги, чтобы взял Левантину замуж, снял срам с семьи. А дубье, говорит, нам не диво: не на од-

них девок — и на дубье бывают заговоры. Иной бы, говорит, и не встал после введенского бойла, а я — хоть пощупай — жив человек.

Однако Комолые поверили Артему. Анна Матвеевна послала ему кушак, шапку и рубль денег. Левантина успокоилась; истерики ее прекратились, как только она освободилась из-под гнета суеверного страха. Дары Артем, как предсказала Анютка, немедленно пропил у Федулы Пихры.

— Что мало носил? — посмеялся кабатчик.

— Наносимся и других, почище, — хвастливо возразил Артем. — Теперь, брат, Комолые сидят у меня в кулаке: чего хочу, того прошу.

— Ты же, сказывают, снял наговор с девки?

— Ничего не скидывал, и невозможно его снять, потому — слово мое прибито крепко-накрепко... прямо сказать, прогвозжено. Так — даю девке прохладу: пуцай отдохнет, пока ко мне с уважением. Опять же и господа с усадьбы просили: Артемий Филиппович! сильный ты человек! пожалей, не позорь Комолых!.. Я что же? Я, брат, добер: коли ко мне с уважением, я ничего, прощаю. Но ежели, за-

место уважения, гордыбачат, сейчас произведу все действие назад. Вихторка у меня еще пляшет!

Эти пьяные похвальбишки дошли до Левантины: целительный эффект нашего вмешательства был убит ими наповал; девушка снова загипнотизировала себя страхом порчи.

Не прошло недели, как до нас дошли слухи, будто Левантина «ходит по ночам» и намедни совсем было ушла из избы, да, на счастье, проснулся Виктор и поймал сестру уже в сенях, когда она шарила дверную щеколду, чтобы выбраться на крыльцо. Окликнутая братом, Левантина закричала, упала и сильно расшиблась лицом о порог. Семья всполошилась. Левантина произвела на всех странное впечатление: она осматривалась, точно со сна, и, по-видимому, сама не понимала, как, когда и зачем она забрела в сени. На вопросы молчит — и лишь с усилием припоминает, что с нею было. Потом стала было нескладно вывираться, будто на улице больно опасно лаяли собаки, и она, тревожась за овец, шла проведать, нет ли какого лиха. За эту ложь —

во всю ночь хоть бы одна дворняжка твякнула — Галактион и Виктор сильно избили Левантину. Они предположили, что вся история с порчею, стоившая им стольких волнений, была надувательством и просто Левантина сама слюбилась с Артемкою и, столкнувшись с ним, теперь бежала к нему на свидание.

— К Артемке шла, подлая? Сказывай!

Под братним кулаком Левантина упала на колени и простонала:

— Взмануло...

Разъяренный Галактион сшиб дочь на пол и истоптал ногами. Он убил бы ее до смерти, если бы Матвеевна не бросилась между озверелыми мужчинами и их жертвою:

— Что вы делаете, Ироды? за что увечите девку? Посмотрите на нее: нешто она в себе властная?

Левантина, голося, ползала у ног матери:

— Мамынька-голубонька! кабы я своею волею! Так вот весь день-деньской и тянет, и сосет. И во сне видится... манит, зовет: поди да поди!.. Стыдовая моя головушка! Убейте меня лучше, братцы родные, чем отдавать на эта-

кое надругание! Не уйти мне, видно, от своей судьбы: достанется моя девичья краса постылому...

Если в этот раз у Виктора и Галактиона остались еще некоторые сомнения относительно искренности и болезненного состояния Левантины, то следующая ночь убедила их вполне, что девка в себе не вольна. Она разбудила семью глухими стонами. Зажгли огонь и увидали в окне не Левантину, но лишь половину Левантины: она высунулась до пояса во двор, но застряла в окне бедрами и, придавленная подъемною рамою, не могла двинуться ни взад, ни вперед. Виктор и Маргарита забежали со двора, чтобы протолкнуть Левантину назад в избу — и, заглянув в ее лицо, ярко озаренное месячным светом, ахнули: глаза Левантины были закрыты. Она продиралась сквозь окно и тянулась вперед руками — в глубоком сне, и, лишь когда Виктор громко окликнул ее, она, как в прошедшую ночь, жалобно закричала и не упала только потому, что не могла упасть. При пробуждении сердце у нее билось, как перепел в сетке, и все ее грузное тело ходило ходенем от ча-

стого и тяжелого дыхания...

Я, наслышавшись этих чудес, звал было Мерезова полюбоваться Левантиною «в фазисе сомнамбулизма», но он махнул рукою:

— Будет, повозились — и довольно... Там, брат, начинает сильно пахнуть уголовщиной... Того гляди влопаемся свидетелями в скверную историю.

Действительно, Виктор ходил с нехорошими, зловещими глазами, Галактион — тоже, и оба были как-то неестественно спокойны. Мы слышали, что они побывали с жалобой на Артемку в волости и в стану и были жестоко осмеяны за невежество просвещенным волостным писарем и еще более просвещенным письмоводителем станового... Артем поднял голову и, пользуясь паническим ужасом к нему Анны Матвеевны, шантажировал старуху грабительски. Левантина — исхудавшая, подурневшая, полубезумная — ждала каждой ночи как казни.

— Ништо, дочка, — шептала ей старуха, — ноне уснешь. Я таки ему, подлецу, снесла полтинничек в клубке ниток: обещал два дни не мучить... Только мужикам не сказывай: ру-

гать станут, что деньги бросаю.

Однажды я стоял с Виктором, и он рассказывал мне, как они с отцом были в стану.

— «Дураки вы, дураки, а еще умные люди! — сказал нам письмоводитель, — это не порча, а липносиз... Супротив же липносизу законов еще не написано, да и суд ему не верует, потому дело темное, внове». Так мы и пошли назад с липносизом!

В это время Артем прошел мимо нас с нахальной усмешкою. На лице Виктора хоть бы одна черточка дрогнула; он даже не взглянул на своего врага. Для такого гордого и гневного человека это было странное поведение. Очевидно, Виктор что-то удумал — и крепко... Я заметил, что вся Хомутовка смотрит на Комолых с тем же боязливым предчувствием скорой и неизбежной беды над этим домом, как и Мезезов; от них заметно сторонились.

А между тем нервная атмосфера, внесенная в семью болезнью Левантины, оказывала свое действие на впечатлительную и суеверную среду: припадки Левантины отразились, хотя в слабейшей степени, на Маргарите и Юльке...

Днями тремя позже того, как завыкликала Юлька. Введенские рыбаки, ведя невод под Кувшинным Яром, выволокли из Оки свежий труп Артема Крысина, Полчерепа было снесено.

Виктора арестовали и выпустили: он, как все Комолые, доказал свое alibi в ночь смерти Крысина. Не имея других подозрений, следствие признало Артема жертвою несчастного случая. Кроме разбитой головы, тело не носило боевых знаков. А голову Артем, очевидно, разбил о сваю, близ которой был найден. Кувшинный Яр такое местечко, что сорваться с него в Оку немудрено даже трезвому и днем, — только зазевайся; а в последний раз Артемку видели сильно навеселе, и уже в глубокие сумерки. Он собирался идти домой, на Подшиваловские выселки, и именно береговою тропой. Федул Пихра даже предупреждал его, что тропа на Кувшинном Яру, пожалуй, неладна, так как днем была сильная гроза и размочила глину, — не случилось бы оползня.

Все эти подробности писали мне уже в Москву Мерезов и о. Аркадий. Последний прибавлял: «А все-таки она вертится! как ска-

зал судьям своим премудрый и несправедливо обвиненный философ и астроном Галилей. Артемий не утонул, но утоплен, — и, разумеется, никем другим, как Виктором Комолым. Такова общая молва, и мое личное убеждение. Но утоплен не самовольно, а с тайного разрешения Хомутовского мира, которому Комолые поклонились о суде, когда не нашли его в других местах. Они указали старикам, что Артемий — враг не только их семьи, но и общественный; что теперь он позорит и разоряет их двор, а потом разлакомится и начнет шастать, как коровья чума, по всей деревне. Мир принял резоны Комолых, выдал им Артема головою и покрыл убийство, как не Виктор, но мирской грех. Любопытно, хотя и неистово, что, трое суток спустя по предании земле Артемкина праха, найден был на могиле осиновый кол[29], вколоченный столь глубоко, что, не могли его извлечь, должны мы были лишь подрубить древко сего знамени невежества вровень с землею. И кто же оказался виновником оно́го святотатства? Дурачок мой, псаломщик Евдоким, возмечтавший, что покойник, как колдун, будет вста-

вать из могилы, дабы мучить его и жену его, находившуюся когда-то с Артемом в непозволительных отношениях. Таково-то жестоки наши нравы».

Из кратких записок Мерезова и из пространных философствований отца Аркадия я последовательно узнавал, что Галактион женил Виктора, Левантину выдал замуж за писаря — того самого, который отрицал старинную порчу в пользу модного «липносиза», — и чрез это забрал еще большую силу в округе; что Савка с ноября — солдат; что рябую Анютку, о Святках, в два дня убрал дифтерит и что Мерезов, сверх всякого ожидания, был очень поражен ее смертью: струсил, заскучал и с той самой поры частенько запивает. Потом письма стали приходить реже, и наконец деревня вовсе замолкла. Год спустя, зимою, проезжая в Киев, я не поленился сделать двести верст крюка, чтобы проведать Василия Пантелеича. Увы! он встретил меня хмельной и проводил хмельной; опух, обрюзг и... поглупел. Прежний мрачный юмор его оставил; шуточки выходили плоские, натянутые, либо тошнотворно сальные. Вместо Анютки и Сав-

ки, по хозяйству тормозились какие-то грязные и ленивые сморчки. «Государственный совет» частью вымер, частью вовсе обессилен — и валялся, в голодном полузабытьи, по плохо топленным печкам и лежанкам, ожидая, скоро ли Господь пошлет смертного ангела по их стариковские души и избавит их от собачьего житья.

Зато Федора потолстела чуть не вдвое, рядилась, жила уже не в людской, а в комнатах, имела вид гордый и повелительный, кричала на прислугу. Разве слепой не заметил бы, что она полная хозяйка в доме и Мерезов попал под ее тяжеловесный башмак. Я прожил в Хомутовке два дня.

— Заезжай как-нибудь еще, — угрюмо проводил меня Мерезов. — На подножный корм... попаси Навуходоносора...

Но нам не суждено было свидеться снова. Осенью следующего года о. Аркадий телеграфировал мне, что Василий Пантелеич застрелился, оставив в объяснение своего самоубийства всего три слова: «Сыт по горло».

Примечания

Рассказ написан в 1897 г., в сб. «Мифы жизни» помещен в разделе «Русь».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни / Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Примечания

1

Навуходоносор (605–562 до н. э.) — вавилонский царь, который по воле Бога был отлучен от людей и семь лет питался травой.

[^^^]

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898) — германский государственный деятель; Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия), созданный по его инициативе в 1882 г., был направлен против Франции и России.

[^^^]

3

Кроме добродетели, и в рубище почтенной... — измененная цитата («И в рубище почтенна добродетель!») из драмы А. Н. Островского «Гроза» (слова Кулигина).

[^^^]

...везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича. — Император Александр I неожиданно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 г.

[^^^]

5

Пусть не хватает сил, но желание все же похвально (лат.).

[^^^]

6

В полном составе (лат.).

[^^^]

Калёб сира Эдгарда Равенсвуда... — Калёб — имя слуги; имеется в виду персонаж романа В. Скотта «Ламмермурская невеста» (1819, рус. пер. 1827).

[^^^]

«Сорочинская ярмарка» — произведение Н. В. Гоголя, входящее в цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832).

[^^^]

Санкюлоты — революционеры периода Великой французской революции; слово произошло от насмешливого названия городской бедноты, не носившей, в отличие от знати, коротких штанов из дорогой ткани.

[^^^]

Исайя возликует... — «Исайя, ликуй!» — литургический гимн, исполняемый при обряде бракосочетания.

[^^^]

«Цыганский барон» — оперетта И. Штрауса (1885).

[^^^]

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–1935) — французский писатель, известный романами из светской жизни.

[^^^]

Из-за Гекубы!!! — цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601).

[^^^]

Чуден вид Левантины... — иронический парадокс знаменитого описания Днепра в «Страшной мести» Н. В. Гоголя.

[^^^]

«Вражья сила» — опера А. Н. Серова, либретто по драме А. Н. Островского «Не так живи, как хочется».

[^^^]

Наша прекрасная и всегда очаровательная
Левантина (фр.).

[^^^]

Прошу прощения за выражение! (фр.).

[^^^]

Здесь: припадок удушья (фр.).

[^^^]

...Валентин своей собственной Маргариты... — намек на героев трагедии Гете «Фауст» (1831).

[^^^]

Но слушай... — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

[^^^]

А. П. Ленский (1847–1908), Я. К. Милославский (1811–1882), В. В. Самойлов (1812–1887), И. В. Самарин (1807–1885), Н. Х. Рыбаков (1811–1876) — известные драматические актеры, игравшие на столичной и провинциальной сцене.

[^^^]

Я царь, я раб... — цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784).

[^^^]

Я глупостей не чтец... — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

[^^^]

...у Щедрина... — имеется в виду сатирическая сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Баран-непомнящий».

[^^^]

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ, один из основоположников иррационалистической линии в западноевропейской философии. «Мир как воля и представление» — его основной философский труд.

[^^^]

Киник — последователь философской школы, основанной в 4 в. до н. э. в Афинах. Киники отвергали общепринятые нравственные нормы и призывали к аскетизму, простоте, считая это средством достижения духовной свободы.

[^^^]

Байрон Джордж Гордон Ноэл (1788–1824) — английский поэт-романтик, участник национально-освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига.

[^^^]

Шекспир Уильям (1564–1616) — английский драматург и поэт.

[^^^]

...найден был на могиле осиновый кол... — по народным поверьям, осиновый кол вбивается в могилу колдуна, чтобы он не мог встать.

[^^^]